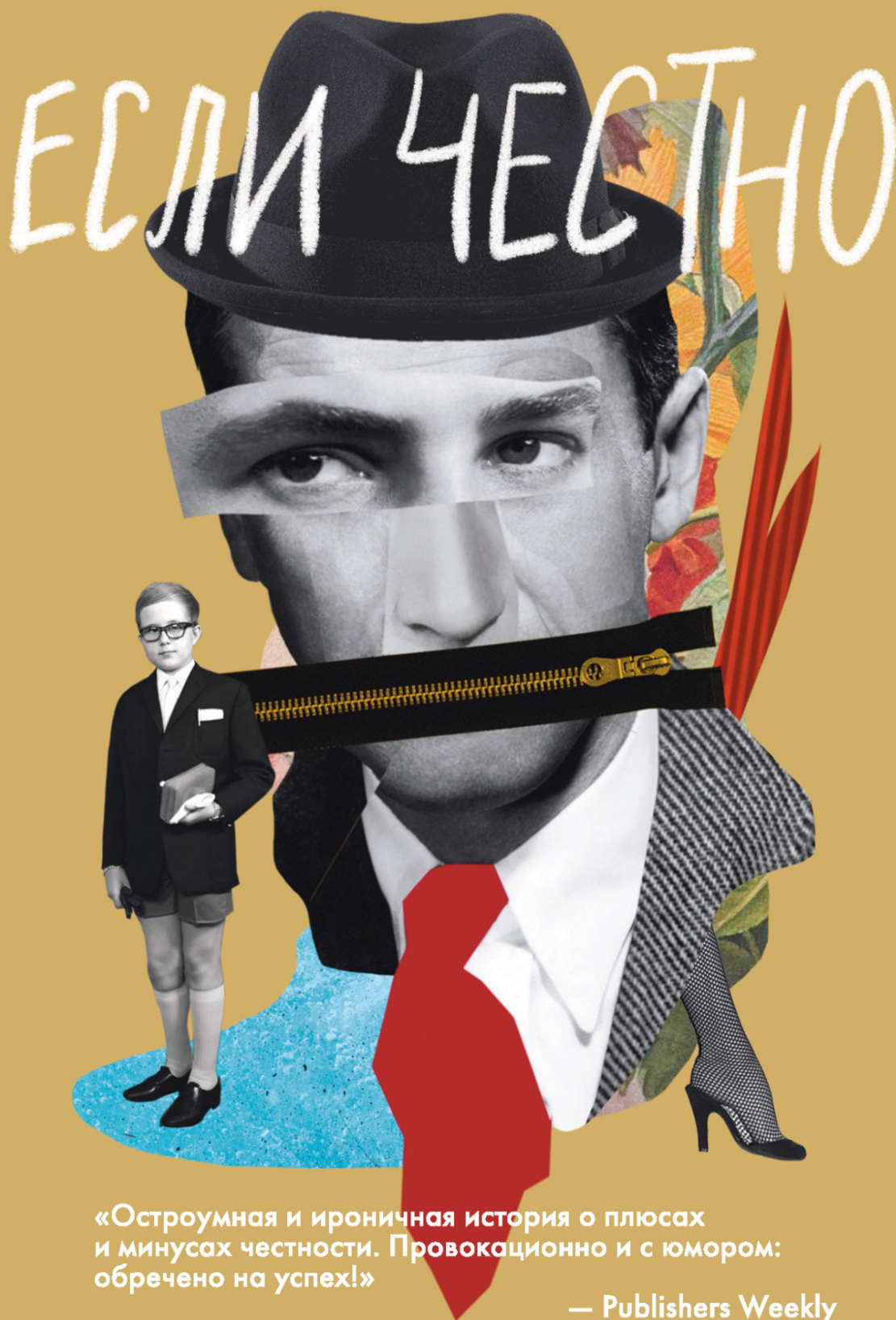


САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ БИОГРАФИЯ 2021 ПО ВЕРСИИ GOODREADS
ВЫБОР РЕДАКЦИИ AMAZON

Майкл Левитон



«Остроумная и ироничная история о плюсах
и минусах честности. Провокационно и с юмором:
обречено на успех!»

— Publishers Weekly

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Майкл Левитон

Если честно

Издательство "Livebook/Гаятри"

2021

УДК 82-94
ББК 84 (7)

Левитон М.

Если честно / М. Левитон — Издательство "Livebook/Гаятри" ,
2021

ISBN 978-5-6040082-3-2

«Если честно» – искренний рассказ, в котором каждый сможет узнать себя. Все мы порой вынуждены лгать во благо и уходить от ответов, чтобы не задеть чувства окружающих. Но как быть, если совсем не умеешь лгать?

Родители научили Майкла Левитона никогда не врать и ничего не утаивать – абсолютная честность во что бы то ни стало. И сами вели себя с ним так же: папа не поддавался ему при игре в шахматы, а когда ребенок случайно услышал слово «фетиш», мама подробно все объяснила ему про секс. Но, вступив во взрослую жизнь, он узнает, что правда – не лучший помощник, когда нужно произвести впечатление на девушку или пройти собеседование. Не пора ли научиться лгать? Приведет ли это к желаемому успеху? Документальная проза от музыканта, фотографа и сценариста телеканала HBO читается как увлекательная трагикомедия и ставит по-настоящему глубокие вопросы. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 82-94

ББК 84 (7)

ISBN 978-5-6040082-3-2

© Левитон М., 2021
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2021

Содержание

Пролог	6
Часть первая	8
Глава 1	8
Вежливо – не значит уважительно	12
Скисшее молоко	16
Чудо на Хануку	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Майкл Левитон

Если честно

Посвящается маме, папе, «Еве» и всем тем, кто умудрялся любить меня даже в те моменты, когда я сам себе был противен

Michael Leviton

To Be Honest

Публикуется с разрешения Elyse Cheney Literary Associates LLC и The Van Lear Agency LLC.

Copyright © Michael Leviton, 2021

© Максим Череповский, перевод на русский язык, 2021

© Livebook Publishing, 2021

* * *

«Если честно» читается как ужастик про отношения. У меня все внутри сжималось от страха и одновременно я хохотал в голос!

Харрисон Скотт Ки,

лауреат премии для юмористов Thurber Prize,

автор книги «Самый большой человек в мире»

Я не могла отложить эту книгу! Хотя, подождите, я только что солгала: мне же нужно было поспать и все такое. Но правда в том, что «Если честно» – поразительно смешной и душераздирающе трогательный текст. Майкл Левитон изложил такой бескомпромиссный взгляд на то, что значит быть правдивым и любить кого-то, что, прочитав эту книгу, вы обязательно задумаетесь о всей той лжи, которую произносили сами или выслушивали от других, лишь бы быть среди людей.

Сали Фэйт,

американская журналистка, писательница,

актриса, комик, теле- и радиоведущая

Если хочешь от кого-то честности, это надо заслужить. Мы не произносим этой фразы ни вслух, ни про себя, но чувствуем это на каком-то бессознательном уровне. Майклу Левитону потребовалось больше 30 лет, чтобы это осознать. Пожалуй, здесь и лежит важный, хотя и парадоксальный вывод, который можно вынести из опыта суперчестности.

Reminder

Пролог

Честные деньки подошли к концу. Всю свою жизнь я держался за правду, но пора наконец и мне сдаться и начать лгать. Я совершенно не был уверен в том, что у меня получится; три мои предыдущих опыта вранья – в пять лет, затем в восемнадцать и в двадцать шесть, по одной лжи на декаду – дались мне с большим трудом и отвращением, но я должен был хотя бы попробовать. Настал мой момент истины – то есть момент лжи.

Я плюхнулся на диван в тускло освещенной квартире в Бруклине, которую мы еще каких-то пару месяцев назад делили с Евой. Причем я специально оставил включенной только одну неяркую лампочку – я привык гордиться своей способностью с достоинством переносить любые лишения и несчастья, но мне все равно было невыносимо больно смотреть на кусочки того мира, который мы строили вместе с Евой на протяжении последних семи лет. Подаренный мною винтажный туалетный столик, у которого она прихорашивалась по утрам, ее мольберт, картины, рисунки, музыкальные инструменты, обеденный стол, который мы смастерили, приладив столешницу из орешника к кованым ножкам швейной машинки «Зингер» 1930-х годов – я физически не мог все это видеть, а потому сидел в темноте.

Моя естественность, по идее, должна была привлекать ко мне тех немногих людей, которые ценили бы меня таким, какой я есть. Именно так, как мне казалось, было с Евой. Но в итоге именно эта неукротимая искренность и подорвала наши с ней отношения – как, в общем-то, и все остальное в моей жизни.

Не существует никаких кружков помощи и поддержки для людей, страдающих от чрезмерной честности. Вся психотерапия основана на постулатах искренности и на лозунге «скажи как есть», а не «заткнись и помолчи хоть раз в жизни». Мне были необходимы советы ровно противоположные тем, что обычно дают психологи.

Я взял ручку и листок бумаги, сел за стол из швейной машинки и составил новый список правил для самого себя:

- ✓ *Скрывай свои чувства.*
- ✓ *Избегай ответов на вопросы – они все равно никому не нужны.*
- ✓ *Не верь тем, кто якобы ценит искренность – у них иное понимание этого слова.*
- ✓ *НЕ будь самим собой.*

Эти строчки мне самому сразу показались до смешного дурацкими – более нелепые и вредные советы сложно было придумать. Я уже хотел было позвонить Еве и спросить ее мнения, но вовремя напомнил себе, что звонок бывшей с целью известить ее о том, как поживает мое душевное здоровье после нашего расставания, есть типичное проявление как раз тех качеств, которые мне необходимо было в себе душить.

Несмотря на то, что благодаря своей искренности я насмотрелся на тысячи скривленных лиц, косых взглядов и неловких побегов от разговора, меня все еще не переставала удивлять реакция людей на честность. Даже сжимая в руке ручку и мысленно готовясь приучать себя ко лжи, я автоматически перебирал в уме десятки цитат известных людей о том, сколь приятно и легко говорить правду. Ведь многие так и не смогли выразить то, что хотели бы. Одна девушка как-то раз даже сказала мне, что хотела бы как по волшебству получить один день, который никто, кроме нее, не запомнил бы – лишь для того, чтобы иметь возможность высказать всем окружающим свое истинное мнение. В моей жизни каждый день был именно таким. Говорить правду для меня было не сложнее, чем петь. Правда, у большей части окружающих это вызывало подспудное желание меня придушить.

Казалось, все вокруг были прекрасно осведомлены о бессчетном количестве причин иногда затыкать уши и почаще держать язык за зубами; все, кроме меня. Я один никак не мог этого постичь. Каким образом кому-то может не хотеться услышать мнение окружающих? Как может не хотеться поделиться с ними своим? Такое отношение к миру было мне абсолютно неблизким и казалось до безысходности грустным. Люди на каждом углу расхваливают правду, а сами тем временем лгут или подталкивают других ко лжи десятки, а то и сотни раз на дню. Знакомясь с людьми, я часто открыто приглашал их быть честными в разговоре, но никто из них ни разу не принял это предложение. И чем больше я упирал на искренность, тем больше они начинали лгать и раздражаться, а это в свою очередь раздражало уже меня. И никто так и не смог или не захотел объяснить мне, чем вызывается такое поведение.

Дрожащей от досады рукой я дописал в свой список еще несколько правил:

✓ *Не относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе – им это не понравится.*

✓ *Учись говорить ни о чем.*

✓ *Вместо того, чтобы искать людей, которые ценили бы тебя таким, какой ты есть, приучи себя быть таким, каким тебя хочет видеть собеседник.*

По моему опыту неискренность радовала окружающих. Они словно знали что-то очень важное об этой жизни, чего не знал я. Иначе с какой бы стати всему миру столь упорно при-нуждать меня лгать? Почти все убеждали меня в том, что то, что я мнил неискренностью, на деле таковой не является, что я был смешон, буднично называя совершенно нормальное человеческое поведение фальшивкой. Казалось, пришло время снять наконец свои розовые очки искренности и взглянуть правде в глаза.

Когда я рассказываю людям о своем честном периоде и нечестном периоде, они обыкновенно либо злятся на меня, либо начинают жалеть. Ревнителям искренности не нравятся мои суждения о разрушительном влиянии честности и самовыражения на человеческую жизнь. Сторонники лжи и масок приходят в негодование от того, сколь поздно я осознал, что ставить окружающих в неловкое положение неправильно и некультурно. Некоторые даже говорили, что «все уважают честность», а уже через пару минут советовали мне не рассказывать людям мою историю. Кто-то утверждает, что сам факт написания этой книги доказывает, что я недостаточно посрамлен, что я не сделал выводов и не усвоил урока, а то и вовсе принципиально отказываюсь учиться на своих ошибках. Их точка зрения мне понятна: я вроде как согласился не рубить правду-матку, а тут взял и написал такую исповедь. Быть может, эта книга есть лишь оправдание рецидива, попытка разжечь старый огонь наших отношений с правдой. Хотя такое и не приветствуется в нашем обществе, я все же расскажу вам несколько историй из моей жизни, пусть и рискуя навлечь на себя немилость читателя или вызвать ненужную жалость. Обычно, когда просишь кого-то быть с тобой честным, можно смело рассчитывать на то, что собеседник не воспримет эту просьбу всерьез. С этой книгой все немного иначе. Переворачивая страницу, ты, мой читатель, просишь меня быть с тобой честным. Я не откажу тебе.

Часть первая

Просто быть искренним

Глава 1

Большинство людей

Родители старались заранее подготовить меня к неизбежным жизненным тяготам (таким как смерть, отвержение и прочие неудачи). В четыре года я уже был наслышан о многих подобных ужасах, однако особое место среди них занимали прививки. Я лежал в постели и со страхом представлял себе гигантские мультяшные шприцы с капающей с кончика иглы жидкостью. И вот в августе 1984 случилось страшное – мама сказала, что завтра меня ведут на прививку.

Мы тогда жили в часе езды от Лос-Анджелеса, в зеленом студенческом городке под названием Клермонт, с небольшими парками через каждые пару кварталов. Родители осели там от безысходности: у них так и не получилось устроиться на работу после колледжа – они слишком плохо умели врать на собеседованиях – так что в какой-то момент мама сопоставила энциклопедические познания отца в музыке с тем фактом, что в Клермонте не было на тот момент ни одного магазина с пластинками, и предложила это исправить. В общем, они честным трудом зарабатывали на хлеб.

Детский сад, в который меня собирались отдать, организовал вакцинацию своих будущих воспитанников в большой палатке через дорогу, прямо на краю парка. Дорога туда в целом напоминала обыкновенную семейную прогулку, только с щепоткой ужаса. Жар от раскаленного асфальта беспрепятственно проникал сквозь легкие парусиновые туфли, а яркое летнее солнце делало мои веснушки темнее и еще заметнее. Я был домашним ребенком и всегда жаловался на жару, выходя на улицу.

Мы зашли в парк, и перед моим взором предстала та самая адская палатка из синего брезента. Я оглянулся на маму с папой, почесал стриженую под горшок башку и заявил:

– Багз Банни так шел на расстрел.

Мама засмеялась так сильно, что с нее чуть не слетели ее здоровенные корректирующие очки.

– Какой же ты забавный, Майкл, – сказала она. – Даже когда ты напуган, ты совершенно уморителен!

Я даже забеспокоился, что из-за безудержного хохота мамы мой грудной брат Джош может ненароком вывалиться из слинга. Но в целом мамин смех радовал, поскольку все утро она только хмурилась и теребила свои наручные часы¹.

Вокруг палатки уже собралась целая толпа моих сверстников со своими родителями. Они сидели на заботливо принесенных заранее подстилках и шезлонгах, качались на качелях, играли в песочнице и развлекались на всю катушку без тени страха или волнения. Внезапно у папы загорелись глаза.

– Предсказываю, – начал он. Отец частенько развлекался предугадыванием поведения окружающих. Причем он практически никогда не ошибался, как будто наверняка знал, что в той или иной ситуации люди вокруг будут делать или говорить. Мне это казалось самой настоящей магией.

Для драматической паузы папа поскреб свою короткую каштановую бородку.

¹ Кажется, мама с папой вообще не умели скрывать своих чувств. Впрочем, думается, они особо и не пытались. – *здесь и далее примечания автора, если не указано иное.*

– Бьюсь об заклад, – продолжил он, подняв кустистую темную бровь, – что большая часть этих родителей не рассказала своим детям про уколы.

Предсказания отца всегда касались не всех людей, а «большой части» или «многих». Он учил меня не слушать тех, кто говорит про всех людей вообще, поскольку общей правды для всех не бывает.

Отец предсказывал лишь обыкновенное поведение людей. Как-то раз, когда он повел меня на мой первый концерт, он сказал:

– Гляди: сейчас Ринго спросит зрителей о том, как у них дела, и большинство начнет свистеть и аплодировать.

В другой раз, когда я ходил с ним по магазинам, он сказал:

– Сейчас я скажу продавцу, сколько готов потратить, и он тут же покажет мне вещи подороже.

Когда я спросил, как ему удастся читать мысли и предсказывать будущее, он ответил мне так:

– Большинство людей подражают окружающим. Они идут по накатанной дорожке, следуя определенному сценарию, и зачитывают написанные за них реплики, которые все уже сто раз слышали.

Когда я спросил, почему они не придумывают вместо этого что-то новое, он ответил:

– Потому что боятся. А вдруг они кому-то не понравятся, если начнут свободно самовыражаться? А они до жути боятся кому-то не понравиться.

Он покачал головой и добавил:

– Просто смешно.

Сделав свое новое предсказание, отец усмехнулся, взял небольшую драматическую паузу и пояснил:

– Думаю, большая часть этих детишек думают, что отправились на обычную прогулку в парк.

– Получается, родители их обманули? – спросил я в ужасе².

– Большинство людей почему-то считают это неотъемлемой частью правильного воспитания, – ответил папа со своей фирменной ухмылкой, которая всегда появлялась на его лице вместе с «гусиными лапками» у глаз, когда он насмеялся над «большинством людей».

Сойдя с тротуара, мы сели на траву. Отец с наслаждением вытянул свои длинные волосатые ноги. Во всех моих детских воспоминаниях он всегда носил одно и то же: выдавшая виды крашенная вручную футболка с названием какой-то группы и бежевые шорты. В одежде мамы, сколько помню, было больше разнообразия – иногда она надевала футболки оверсайз и джинсы, а иногда просторные черные платья, развевавшиеся у нее за спиной.

Я смотрел на собравшиеся в парке семьи и пытался сосчитать детей. В какой-то момент из синей палатки показалась красная лицом мать, тащившая за руку своего всхлипывавшего сына. Внимание всех детей вокруг тут же переключилось на эту парочку. Сидевший рядом с нами на покрывале коротко стриженный мальчик заерзал, ткнул пальцем в вышедшего из палатки ребенка и спросил своего отца:

– Почему он расстроился?

Тот потер шею и ответил:

– Да все в порядке.

Я хорошо запомнил этого лжеца: гладко выбритый блондин в наглухо застегнутой рубашке с подвернутыми на мускулистых предплечьях рукавами. Сына его ответ явно не устроил.

² Семьи обоих моих родителей пребывали с «большинством» в состоянии войны на протяжении нескольких поколений. Мы ввязались в эту войну, зная, что проиграем. «Большинство» взяло нас в осаду.

– А почему он тогда плачет?

На это отец ему уже ничего не ответил. Его сын смотрел на него широко раскрытыми глазами. Мне было жаль его.

Папа как-то удрученно прошептал:

– Смехотворно.

Дети, случайно или намеренно подслушавшие разговоры соседей, со всех сторон задавали те же самые вопросы своим родителям. Упорно не желая говорить правду, их родители либо утверждали, что сделать укол будет совсем не больно, либо вообще отказывались обсуждать эту тему. Одна мать сказала своему ребенку: «Я никому не дам сделать тебе больно». Один за другим, все дети в парке впадали в различные формы истерики.

Я точно знал, что будет больно, но не знал, насколько, поэтому спросил у мамы: – А как это, когда делают укол?

– Как будто ужалили, – ответила она. – Или как боль от занозы. Но очень быстро проходит.

На тот момент воспоминания о случае, когда я занозил себе ногу, были, пожалуй, самыми болезненными в моей короткой жизни. Так что мысль о том, что я пережил и не такое, меня успокоила. Я более чем доверял маминому описанию предстоявшей боли. Помню, что думал тогда о том, как ужасно было бы, если бы я не доверял своим родителям и не имел возможности получить у них ответы на волновавшие меня вопросы, почувствовать некую твердую опору.

В один прекрасный момент из палатки высунулась медсестра и назвала мое имя. По ней сразу было видно, что она относилась к «большинству людей». Мы с родителями вошли в палатку. Внутри было достаточно просторно, царил полумрак; вместо пола под ногами была трава. Я приметил висевший на стене одинокий плакат, с которого мне показывал большой палец подмигивающий кролик.

Кресло для пациентов было детским, так что я, сидя в нем, доставал ногами до земли. Медсестра окинула меня взглядом, мысленно явно готовясь к новой истерике очередного дерганого пацана. Игла на распечатанном ею шприце оказалась куда тоньше и короче, чем в мультиках. Изогнув шею, я наблюдал за тем, как медсестра подносит шприц к тому месту на моем плече, где кончался рукав футболки.

– Смотри вон туда, – произнесла она, указывая на стену палатки, – на кролика.

– Я хочу видеть укол, – возразил я.

– Смотри на кролика, – повторила она.

Медсестра замешкалась и взглянула на моих родителей, потрясенно наблюдавших за происходящим. Она пожала плечами, а я сказал:

– Говорю же, я хочу смотреть. Вы мне не верите, что ли?

Прищур медсестры превратился в хмурую озадаченность. Очевидно, она сочла мои слова хамскими, но до меня ей явно никто не говорил подобного³.

Она ввела иглу мне в руку, и я буквально разинул рот в немом благоговении. Жалящая боль от укола заставила меня вздрогнуть и сжаться, но в целом она была терпимой и быстро прошла, как и обещала мама. Я даже улыбнулся, радуясь маминой меткой оценке. Выражение моего лица ощутило смутило медсестру. Она склонилась ко мне, тепло пожала мою маленькую руку и сказала:

– Ты самый храбрый мальчик из всех, что я видела.

Меня буквально распирала гордость – она явно делала уколы многим детям, так что из ее уст эти слова что-то да значили. В принципе, мне вполне верилось, что мало какой ребенок улыбался при уколе, особенно при первом в своей жизни. Я нежилась в лучах мнимой славы

³ Я достаточно быстро привык к такой реакции окружающих. У меня был настоящий талант изобретать новые виды хамства

– слова медсестры официально доказывали, что был самым храбрым пареньком в мире⁴. Я чувствовал себя победителем на некоем престижном соревновании. Я уже собирался толкнуть целую речь о том, что это все благодаря моим родителям, но отец успел первым.

– Все детишки могли бы быть храбрыми, если бы им давали такую возможность, – сказал папа. – Их родители даже про само существование уколов боятся им рассказывать.

Мама, у которой снова съехали очки, радостно улыбнулась.

– Они же плачут вовсе не из-за уколов, – добавила она, – а из-за предательства родителей⁵.

Выслушав папу с мамой, медсестра нахмурилась и вновь обернулась ко мне.

– Я все равно считаю тебя самым храбрым мальчиком из всех, что мне доводилось видеть.

Я еще тогда заподозрил, что она испытывала ко мне жалость из-за того, что поведение моих родителей столь отличалось от прочих, и решила, что они, вероятнее всего, вырастят меня ненормальным⁶.

Я гордо вышел из палатки с кусочком ваты и бинтом на руке, думая о блестящем будущем, ожидавшем самого храброго мальчика в мире, о чудесах, которые я увижу там, куда остальные побоятся заглянуть. Я представлял себе других детей, проводящих свою жизнь, глядя на подмигивающего кролика и упуская самое интересное.

Я повернулся, намереваясь поблагодарить маму с папой за то, что сразу сказали мне правду, но не увидел на их лицах и тени прежней гордости. Мама положила голову папе на плечо, а тот приобнял ее за плечи.

– Как же это несправедливо, – сказала она.

Папа вздохнул в ответ.

– Она все видела своими глазами – Майкл не заплакал. Она лжет детям, а мы вывели ее на чистую воду. Естественно, ее это взбесило, и она выместила свою злобу на нас.

Мама уныла поплелась за отцом, прохныкав:

– Мы ей не понравились.

Папа убрал руку с ее плеч и ощутимо напрягся.

– Ее мнение не должно тебя волновать, вообще. Она просто случайный чужой человек⁷.

– Мы ведь просто сказали правду⁸, – ответила мама, повесив голову.

Я хотел было обнять ее и сказать, что люблю, однако, почувствовав раздражение отца, решил встать на его сторону. Мне тоже хотелось, чтобы мама приняла наконец тот факт, что мы многим не нравимся и что оно того стоит. Что мы не могли быть одновременно нормальными и особенными. Самый храбрый мальчик в мире тоже не мог вот так просто взять и вписаться в свое окружение. Морально я был более чем готов к почетной социальной изоляции праведника.

Мои родители были уверены в том, что все дети рождаются честными, что мы абсолютно свободно самовыражаемся до тех пор, пока родители, учителя и сверстники не выбивают из нас искренность, наказывая и пристыжая за нее. Большинству людей гораздо более естественной и нормальной кажется как раз неспособность ребенка выражать свои чувства и мнения, а также подмена самовыражения мимикрией и имитацией, призванной хоть каким-то образом

⁴ Мне тогда как-то не пришло в голову, что она вполне могла говорить все то же самое всем детям, даже самым трусливым.

⁵ Тогда мудрость маминых слов меня потрясла, однако ныне я склонен сомневаться в этом ее суждении. Все же многие дети паникуют из-за уколов, сколько ты их не предупреждай и не рассказывай об этом. Многим приятнее лживая доброта. И многим понравился бы такой комплимент от медсестры, даже если бы они знали, что она делала его каждому.

⁶ Верный, в целом, вывод, если подумать.

⁷ Этот разговор родителей я помню очень хорошо – он повторялся из раза в раз все мое детство с незначительными вариациями. Я вообще хорошо помню свое детство не в последнюю очередь из-за его однообразия.

⁸ Любимые слова уроков, намеренно оскорбляющих других людей. Большую часть тех, кто их произносит, правда на деле абсолютно не интересуется. В моей же семье было принято выражать вслух максимум своих мыслей и чувств, то есть по-настоящему говорить правду.

снискать у окружающих внимание и любовь. Согласно результатам ряда исследований, дети начинают лгать в среднем в возрасте примерно двух лет, за исключением тех, чьи родители обращают на это особое внимание. Так или иначе, мои родители никогда не задавались целью превратить нашу семью в маленький культ искренности – они просто были самими собой. Как и большей части других детей, мозги мне промывали совершенно не специально.

Вежливо – не значит уважительно

Когда я был еще дошкольником, мама каждый день играла со мной в «поделись своими мыслями». Я рассказывал маме всякую всячину, она все это записывала на бумажке, а потом мы по очереди иллюстрировали получавшиеся истории. Смотри какой-нибудь фильм или даже просто телевизор, я по ходу дела постоянно бегал к маме и рассказывал ей об увиденном. Эта часть процесса мне нравилась даже больше, чем, собственно, сам телевизор. Поняв, насколько я люблю разговаривать, мама даже придумала своеобразную игру, начав брать у меня интервью. Иногда она напоминала «Что ты выберешь?»⁹, а иногда «правду или действие», только без действий. Определяться со своим мнением по тому или иному вопросу, формулировать и выражать его было моей любимой игрой. К тому моменту, когда мне исполнилось четыре, маме настолько нравились мои высказывания, что она решила их записывать.

Она поставила на мой маленький пластиковый детский столик диктофон и пригласила меня говорить обо всем, что придет в голову. Сама она села неподалеку и стала слушать, робко втянув шею, с застенчивым восторгом преданного фаната, получившего возможность взять интервью у своего кумира.

– Когда я нажму кнопку, просто говори все, о чем думаешь, – сказала она.

Глядя сквозь пластиковое окошко кассеты на крутящиеся катушки, я разразился свободным потоком мыслей, обретшем форму импровизированной философской тирады, причем говорил я без запинок, без всяких «э-э-э» и «м-м-м», и только не выговаривая «р» и заменяя его на «л».

– Если у тебя есть любовь, – выдал я на одной из таких кассет, – то у тебя есть любовь для всех в миле!

Потом я некоторое время рассуждал о «песке на зубах», поскольку слышал в рекламе упоминание зубного камня. Я все говорил и говорил, пока диктофон не выключился. Улыбавшаяся до ушей, вернее, до нижних краев своих гигантских очков, мама вернулась к моему столику и крепко меня обняла. Надо сказать, мамины объятия чаще всего походили на наезд особо любвеобильного грузовика.

– Я тебя люблю, люблю-люблю-люблю! – говорила она. – И люблю все твои мысли!

Кассеты эти я называл «Говорильные записи Майкла». Мама оставляла их в магнитофоне, стоявшем на тумбочке рядом с моей кроватью, чтобы я мог слушать их на ночь, убаюкиваясь звучащим в темной комнате собственным голосом.

Папино же пристрастие к разговорам было столь велико, что он просто не способен был участвовать в диалоге, не отвечающем некому минимальному стандарту качества и ясности. Он, к примеру, совершенно не умел общаться с маленькими детьми. В четыре года я мог лишь вместе с ним слушать музыку в его фонотеке.

Отец устраивался на маленьком и жестком сером диванчике, окруженном, подобно крепостным стенам, полками высотой до самого потолка, на которых хранились аудиозаписи. Я обычно садился на укрытый серым ковром пол или на невысокую стремянку, на которую папа вставал, чтобы доставать пластинки с самых верхних полок. Иногда я раскачивался в такт

⁹ В игре «Что ты выберешь?» игрокам предполагается выбрать один из двух предложенных вариантов действий и объяснить свое решение. Например: «Что ты выберешь – встречу со своими полудикими предками или с потомками через тысячу лет?» – Примеч. ред.

музыке или даже танцевал. Папа чаще всего включал то, что, по его мнению, должно было мне понравиться. Моей любимой была «Boris The Spider» группы The Who. Уже тогда я понимал, что когда стану старше, то смогу говорить так же, как папа, и что наше с ним времяпровождение выйдет на новый уровень.

Как-то раз мы с мамой усадили отца впервые послушать одну из «Говорильных записей Майкла»; согласившись, папа устроился рядом с мамой на здоровенном диване, едва помещавшемся в комнате. Он закинул правую ногу на волосатое колено левой и, обернувшись к телевизору, принялся поглаживать покрывавшую его округлый подбородок бороду – именно в такой позе он обыкновенно слушал музыку. Из колонок полился мой голос; мне нравилось слушать его на большой громкости. Я постоянно переводил взгляд с маминого лица на папино, жадно ловя их эмоции. Мама радовалась, улыбалась и смеялась, а отец просто слушал, чуть наморщив лоб; его большие темно-карие глаза не выражали абсолютно ничего. Когда «Говорильная запись Майкла» кончилась, оборвавшись щелчком на середине предложения, отец шевельнулся, опустил обе босые ступни на ковер и сложил руки на коленях, обхватив локти.

– Для начала, – сказал он, – зубной камень не имеет никакого отношения к песку. Это болезнь, повреждающая зубы возле десен – вот этих розовых штук, из которых они растут, – он приподнял пальцами губу, продемонстрировав мне, о чем именно шла речь. – А в остальном я практически ничего не понял.

– Ну не знаю, мне вот «Говорильные записи Майкла» нравятся, – сказала мама.

Уловив в ее словах неодобрение, отец рассердился и встал в стойку «шоколадной защиты».

– Это как злиться из-за того, что я не люблю шоколад!¹⁰ – возмутился он. – Мое к нему отношение никак не связано с твоим. Какая разница, нравится мне что-то или нет? – в такие минуты даже жесты отца приобретали раздраженный характер – он тряс головой и опускал ладони на ноги с неосознанно громкими хлопками. – Я очень рад, что тебе по душе «Говорильные записи Майкла»! Но я абсолютно ничего не могу поделать с тем, что мне они не нравятся! Человек не властен над своими предпочтениями. Я же не виноват, к примеру, что мне не нравится шоколад!

Отец все говорил и говорил о том, сколь смехотворно отношение окружающих к тому, нравится или не нравится ему шоколад, а я внимательно слушал, стиснув зубы и наморщив лоб, словно пытаюсь выдавить побольше мыслей из своего мозга. Я чувствовал, как в него постепенно ложится новая и совершенно не страшная концепция: мне могла нравиться запись, которая не нравилась отцу. Нам необязательно было всегда сходиться во мнениях. Я имел право на свое мнение, и мне не требовалось на это ничье разрешение, даже разрешение родителей.

С тех пор, слушая «Говорильные записи Майкла» на ночь, я держал в уме одновременно и мнение отца, и свое собственное. Сблэзн принять его точку зрения был велик, но я каждый раз вспоминал его же собственные слова о том, что мне не должно быть дела до его мнения. А я, надо сказать, любил приходить к собственным выводам – свобода такого рода была для меня милее и дороже тысячи комплиментов.

Единственная проблема заключалась в том, что мне хотелось иметь возможность радоваться, когда я кому-то нравлюсь, но при этом не огорчаться в противном случае. Разумеется, в четыре года я не мог все это толком сформулировать, но с течением времени мой внутренний мир автоматически пришел в этом отношении в состояние выгодного баланса – я все еще был способен приятно удивляться, узнав, что нравлюсь кому-то, но мне это не было необходимо.

Мне хотелось играть с отцом, но рисованием тот не интересовался, а до возраста, в котором можно было бы с ним нормально беседовать, я еще не дорос. Как-то раз на выходных,

¹⁰ Послушав отца, можно было подумать, будто весь мир ополчился на него за его отношение к сладостям. Понятия не имею, откуда у него это пошло.

зайдя к нему в фонотеку, я обнаружил его сидящим на своем излюбленном диванчике и разглядывающим конверт одной из пластинок.

– Папа, – позвал я, – а давай поиграем?

Отец отложил конверт, прислонив его к спинке дивана, и, очевидно, стал перебирать в уме варианты игр.

– Так, ну, читать ты еще не умеешь, так что в крестословицу¹¹ не выйдет. Может, ты уже дорос до шахмат? – задумчиво произнес он. О неведомых шахматах я никогда не слышал, но искренне надеялся, что дорос до них.

Отец вытащил из недр гаража небольшую деревянную шахматную доску и опустил ее на серый ковер. Я с интересом наблюдал за тем, как он аккуратно расставлял фигурки в немислимо сложном порядке.

– Это король, – пояснил отец, подняв вторую по высоте фигурку и показав на маленький крест у нее на голове. – Он может ходить на одну клеточку в любом направлении.

Он подвигал короля, показывая мне, как это делается. Я напрягся, изо всех сил пытаюсь запомнить правила. Собственно, так прошло все мое детство – в постоянном натаскивании самого себя на то, чтобы пристально наблюдать за окружающими и внимательно слушать и запоминать все сказанное¹².

Не помню, сколько времени ушло у отца на то, чтобы объяснить мне правила и убедиться, что я понял принцип передвижения всех фигур, но вскоре мы уже провели первую полноценную игру. Отец быстро поймал моего короля в ловушку – куда бы я им не пошел, тот везде попадал под шах. Затем папа опрокинул моего короля пальцем и тот упал на бок, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

– Шах и мат, – сказал он.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что я выиграл.

Наблюдая за своим все медленнее и медленнее покачивавшимся королем, я расплакался. Отец же просто спросил:

– Хочешь, сыграем еще?

Освоив шахматы, я стал приставать к отцу с просьбами поиграть каждый раз, когда тот был дома. Иногда к нам приходила мама и молча садилась читать, вязать или работать рядом, пока мы играли. Разумеется, я постоянно проигрывал. Папа каждый раз спрашивал: «Хочешь, сыграем еще?», и я неизменно отвечал: «Да».

Шахматы были моей первой соревновательной игрой. Игры с мамой в рассказы и рисование не подразумевали победителей и проигравших, так что сама концепция игр с элементом соревнования была мне незнакома. Вот мой двоюродный брат Сет – тот как раз обожал все превращать в состязание. Каждый раз, когда он предлагал побегать наперегонки по заднему двору, я спрашивал у него: «А почему обязательно наперегонки? Почему нельзя просто побегать, если тебе хочется?»

Как-то раз, когда мы сидели за столом на заднем дворе, он поставил локоть на столешницу и предложил мне раунд в армрестлинг.

– Мне будет больно, – возразил я.

– Ну и трусишка, – ответил он.

После некоторых раздумий я пришел к выводу, что страх перед раундом в армрестлинг и впрямь делает меня трусишкой. К счастью, мне было без разницы, трусишка я или нет. Мнение

¹¹ До сих пор не могу поверить, что отец с такими усилиями пытался придумать, во что бы поиграть с четырехлетним ребенком. Он не вспомнил даже о банальных прятках.

¹² Я по сей день восхищаюсь своей великолепной памятью, способной в точности сохранять любые разговоры, и сокрушаюсь тому, что ее великолепие не распространяется решительно ни на что более.

моего брата на этот счет меня также не волновало – главным было отвертеться от собственно армрестлинга.

– Да, – сказал я ему нейтральным, ничего не выражающим голосом. – Я трусишка.

Сет вскочил из-за стола, намереваясь найти себе другого соперника, но внезапно застыл, стоя на одной ноге. Затем он развернулся ко мне.

– Я поддамся, – предложил он.

– Что значит поддашься? – спросил я.

– Я не буду жать изо всех сил. Дам тебе выиграть.

Я вскочил на ноги.

– Правда?

– Ага, – сказал он, явно довольный тем, что первым рассказал мне о том, что такое игра в поддавки. – Когда мы с папой соревнуемся в армрестлинге, он мне поддается.

И тут меня посетила жуткая мысль о том, что папа тоже мог поддаваться, играя со мной в шахматы. Я расплакался, чем окончательно сбил Сета с толку.

В следующую субботу, сидя на полу папиной фонотеки перед шахматной доской, я спросил отца:

– А почему ты мне не поддаешься?

Тот помахал рукой в воздухе, будто отгоняя от лица невидимую муху.

– Если я начну тебе поддаваться, как ты сможешь понять, стал ты лучше играть или нет? Как сможешь понять, выиграл ли ты у меня хоть раз по-настоящему? Как вообще сможешь мне доверять? – ответил отец и тихонько рассмеялся. – Как же это дико – играть в поддавки, – пробормотал он себе под нос. – Понятия не имею, кому и зачем это вообще может быть нужно.

– Может, поддаваться вежливо? – предположил я.

Отец нахмурился.

– Вежливость – не всегда проявление уважения¹³, – сказал он. – Вести себя уважительно – значит верить в способность собеседника принять правду, или по крайней мере давать ему шанс хотя бы попытаться это сделать!

Последовавший пассаж папы оказался для меня слишком сложен¹⁴.

– Если все вокруг будут тебе поддаваться, ты не сможешь научиться проигрывать. А потом тебе попадется честный человек, и все – ты в ловушке. Ты слишком изнежен и хрупок. Тебя ведь не готовили к тому, чтобы быть храбрым и открыто принимать свои чувства и управлять ими. Тебе это было просто не нужно, ведь ты привык общаться с подхалимами и «вежливыми» людьми, которые тебе поддаются. И вот из-за этого мы окружены миллионами трусов, впадающих в истерику при малейшем столкновении с реальностью и искренне полагающих, что весь окружающий мир с какой-то стати обязан постоянно обкладывать их мягкой периной уютной лжи и лести, – отец повесил голову, явно разочарованный этим миром. – Играя с тобой, я не стану поддаваться, – сказал он, – я слишком тебя уважаю.

Я глубоко прочувствовал эти слова. Папа меня уважал. Я понял, почему уважение лучше вежливости и почему они плохо сочетаются. Мы продолжили игру, в ходе которой папа периодически молча качал головой. Мне казалось, что он думал о моем не столь удачливом двоюродном брате и о его отце, о том, что они были слишком изнежены и хрупки, чтобы по-настоящему уважать друг друга, как мы с папой.

¹³ Отец частенько наделял общепринятые понятия какими-то собственными смыслами и значениями.

¹⁴ По счастью, забыть его у меня не было ни малейшего шанса – мне приходилось выслушивать эти самые слова раз за разом все детство.

Скисшее молоко

Мы с родителями всегда были сродни заводным игрушкам – так же механически двигались вперед, невзирая на любые препятствия и бесконечно маршируя, даже упершись в стену. Мы просто физически не могли остановить свои внутренние шестеренки. Самое большее, на что мы были способны – это стараться пересилить их вращение.

Родители обожали рассказывать мне истории о собственном детстве, и в результате я еще ребенком понял, как они стали такими искренними. Мама с папой познакомились в старшей школе в 1966 году, когда им обоим было по четырнадцать. Мама была к тому моменту уже наслышана о папе и его репутации клоуна и шутника, постоянно отпускавшего колкости и пародировавшего учителей. На их первом свидании он повел ее в кино на экранизацию «Хладнокровного убийства» Трумена Капоте – пожалуй, самый неподходящий фильм на всем белом свете для такой ситуации. Они оба плакали в конце, когда печального убийцу казнили. В тот момент папа произвел на маму большое впечатление тем, что, в отличие от большинства сверстников, не стеснялся плакать, особенно в присутствии практически незнакомой девушки.

К моменту моего рождения четырнадцать лет спустя между ними уже установилось практически полное взаимопонимание. Однако разница в их воспитании все же вылилась в несколько принципиальных мировоззренческих разногласий.

Мамина семья постоянно разрывалась между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом, поскольку ее родители, Грэмми и Па, занимались продажей предметов декора и украшений для тортов, а в этих двух городах справлялось больше всего свадеб. Образ Па вызывал у меня ассоциации с путешествующими торговцами из старых фильмов, ходивших по поездкам и спрашивавших: «Эй, паря, чем промышляешь?» Говорил он чаще всего о том, какой ажиотаж вызывал у женщин, о своих успехах на фронте и в спорте и о тупости своей жены и детей, причем зачастую преувеличивая или вообще привирая. Он был весьма общителен и мил внешне и умел очаровывать людей, но при этом был достаточно скрытен. Сомневаюсь, что он хоть раз в жизни кому-нибудь открыл свои истинные чувства.

Жестокий отец и наркозависимая мать Грэмми обеспечили дочери расшатанную психику и глубочайшую, отчаянную потребность в одобрении со стороны каждого встречного и поперечного. Почти каждое взаимодействие с окружающими ее оскорбляло, и в результате большую часть времени она пребывала в состоянии хронической обиды на все и вся. Ее чувства можно было задеть буквально чем угодно, и никакие самые строгие правила этикета не способны были от этого уберечь. Для Грэмми все люди делились на «милых» и «гадких» в зависимости от их способности предугадывать и исполнять ее прихоти. К примеру, ее безумно раздражали недостаточно польщенные ее присутствием официанты, не осыпавшие ее комплиментами. Особую ненависть она питала к врачам, имевшим наглость задавать вопросы о ее возрасте и диете или, упаси боже, намекавших на то, что у нее есть те или иные проблемы со здоровьем. Неприятные диагнозы, естественно, тоже казались ей хамством.

Она понимала, конечно, что постоянные обвинения человека в грубости – не самый лучший способ ему понравиться, и что в этом отношении была необходима постоянная самоцензура.

– Ни один человек не знает, что я на самом деле о нем думаю, – хвасталась она маме, словно это был некий идеал, к которому все должны стремиться.

Вся материнская мудрость, которую она передала моей маме, сводилась к искусству мимикрии под желания окружающих. Если верить Грэмми, мужчинам нужно было, чтобы женщина притворялась счастливой дурочкой, всегда следила за своей внешностью и была максимально женственной. В женской же компании маме следовало скрывать любые свои изъяны и

являть собой некий идеал, однако сохранять при этом благосклонность, давая даже тем, кого она презирала, почувствовать себя особенными.

Многих людей, особенно девушек, с детства приучают жертвовать собственными интересами в угоду окружающим, однако мамина семья доводила эту практику до крайностей.

Мое представление о том, какой мама была в четырнадцать, когда повстречала отца, строится во многом на одной истории, рассказанной ею, когда мне было всего года четыре или пять. Как-то раз одна из маминых подруг в старшей школе пригласила ее к себе домой на обед. Когда маму спросили, что она будет пить, она попросила молока. Сделав первый глоток, мама обнаружила, что молоко скисло. Никто из сидевших за столом, кроме нее, молоко не пил. Однако она на тот момент уже многое переняла от Грэмми и промолчала, посчитав, что комментарий по поводу скисшего молока может показаться невежливым. Более того, попросить стакан молока и не выпить его было, по ее разумению, еще более невежливо. Мама понимала, что вся наука этикета вращалась вокруг умения спокойно и невозмутимо переносить такие небольшие неудобства, чтобы не ставить окружающих в неловкое положение. В результате четырнадцатилетняя мама упорно продолжила пить скисшее молоко, пока ее просто-напросто не вырвало.

Рассказав мне эту печальную историю, мама спросила:

– Ты ведь не стал бы пить скисшее молоко, правда, Майкл?

Я ответил, что не стал бы, и она крепко меня обняла, сказав:

– Не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным пить скисшее молоко, никогда в жизни.

Рассказ о семье отца следует, пожалуй, начать с его бабушки. Та была родом из Вустера, штат Массачусетс. На единственной сохранившейся фотографии (сделанной в 1930-е годы, на пике ее куража) она запечатлена одетой в мешковатые брюки и пиджак с широкими лацканами, с перекинутой через плечо лисьей шкурой, подобная какому-то немыслимому шекспировскому принцу, несущему охотничий трофей. Лицо у нее было суровым и жестким, а волосы – короткими. Рядом с ней стояла меркнувшая на ее фоне сестра, улыбающаяся и абсолютно нормальная, если не считать обвивавших ее рук прабабушки, крепко державших сестру длинными, унизанными кольцами пальцами. В камеру прабабушка смотрела тяжело и недобро, заранее презирая любого, к кому этой фотографии суждено было попасть в руки много лет спустя. Ее семья эмигрировала в Америку из восточной Европы незадолго до начала первой мировой войны и осела в Вустере, штат Массачусетс. Там она вышла замуж за другого иммигранта и родила восьмерых детей. Пятой из них в 1927 году родилась папина мама, которую мы все называли Баббе. Прабабушку, соответственно, называли Биг-Баббе. Когда Баббе было девять, ее отец окончательно надоел своей супруге – и Биг-Баббе выгнала его из дома и наказала детям переходить на другую сторону улицы, лишь завидев его. Даже живя в литовском районе Вустера, где все друг друга знали и постоянно друг с другом сталкивались, Биг-Баббе сочла такую «меру пресечения» достаточно эффективной. Все, кто ее знал (включая ее бесчисленных мужей, рано или поздно ставших бывшими) утверждали, что она моментально бросала любого мужика, стоило тому впервые сказать ей «нет». В результате Баббе все детство исправно переходила на другую сторону улицы при виде собственного отца.

Биг-Баббе и так-то недолюбливали в округе, но тот факт, что она выгнала из дома мужа, еще и публично унизив его при этом, возмутил общественность до абсолютно немыслимой степени. Росшая без отца под опекой столь жестокой женщины, люто ненавидимой соседями, Баббе многое готова была отдать за то, чтобы выбраться из Вустера. Биг-Баббе всегда мечтала перебраться в Калифорнию – одному Богу ведомо, почему – и Баббе унаследовала от нее эту мечту. В двадцать два года она вышла замуж за моего дедушку, которому было тогда двадцать семь, и сказала ему: «Я уезжаю в Лос-Анджелес. Ты со мной?»

Ни Баббе, ни дедушка Зайде никогда до этого не покидали Вустер. Зайде был низким, простым и свойским мужичком, обожавшим травить анекдоты и спать – иными словами, он был совершенно не из тех, кто спонтанно бросается на поиски приключений, оставляя при

этом позади родню. Однако Баббе все же попросила его уехать с ней в Лос-Анджелес. Она, в отличие от Биг-Баббе, все же нашла себе мужа, который не смел ей перечить.

Вместе с Баббе в Лос-Анджелес в 1950 году переехала и ее мать с остальными детьми. Семья Зайде же осталась жить в Вустере. Сам он часто их навещал, а вот Баббе категорически отказывалась возвращаться в родной город.

По словам папы, с точки зрения воспитания детей Баббе вела себя как любая нормальная еврейка, выросшая в эпоху Великой депрессии. Впрочем, надо понимать, что в моей семье всегда бывало не самое нормальное понятие «нормальности».

Папа говорил:

– По ее мнению, ты либо вырастал сильным и закаленным, либо погибал. Когда я в детстве жаловался на то, что мне холодно, она отвечала: «Неправда. Никакой это не холод».

Заходя с папой в магазин игрушек, Баббе разрешала ему самому выбрать что-нибудь – что угодно. Когда он определялся с выбором игрушки, она неизменно отказывалась ее покупать.

По праздникам папа постоянно нервничал, поскольку в детстве насмотрелся, как его мама, открыв очередной подарок от мужа, заявляла, что тот ей не по вкусу. Сам папа пытался подстраховаться, пытаясь вызнать у нее заранее, чего бы ей хотелось, но она каждый раз отвечала: «Так не принято».

По маминым рассказам Баббе всегда выходила жестокой и деспотичной женщиной. Папа, в сущности, рассказывал про нее точно такие же истории, но при этом без единого намека на недовольство и вообще какой бы то ни было негатив. Стоило кому-то из нас сказать что-нибудь малоприятное про Баббе, папа моментально вставал на ее защиту, утверждая, что она была любящей матерью.

Надо сказать, что все эти детские переживания прямо отразились на характере отца.

– Никто не вправе ожидать от тебя телепатии, – говорил он мне, – окружающие всегда сами должны просить тебя о чем-либо. А ты всегда должен иметь право задавать им вопросы. Пытаться угадать, что человек чувствует – неправильно и бесцеремонно. Все мы устроены по-разному. Я вот, например, не хочу, чтобы кто-то делал какие-то выводы о моих чувствах. Если они спросят прямо, я отвечу.

Слова Баббе о том, что «так не принято», вылились в отцовскую веру в людское разнообразие.

– Какую бы дикость ты ни выдумал, обязательно окажется, что хотя бы в каком-нибудь одном существовавшем на протяжении всей истории человечества обществе она считалась общепринятой нормой, – утверждал он, – спроси любого антрополога или психолога.

Когда папе было восемь, он решил вести дневник. Скопив карманные деньги, он купил себе записную книжку. Он написал на внутренней обложке свое имя, поставил на первой странице дату и начал писать первое предложение. Выведя всего пару слов, он остановился, осознав, что, обыскав его комнату, Баббе наверняка найдет этот дневник и что ей вряд ли понравится то, что он собирался написать. Он вычеркнул написанное и решил начать со вступления, которое ее бы удовлетворило. Тут он осознал всю бессмысленность ведения дневника с поправкой на одобрение матери. В результате дневник отца как начался, так и окончился тем самым недописанным и зачеркнутым предложением.

Услышав эту историю от папы, я тут же спросил, о чем он собирался написать в дневнике. Тот ответил, что не помнит и что дневника давно уже нет – Баббе выкинула многие из его вещей, не спросив разрешения. Мне было интересно, открыла ли она папин дневник, прежде чем его выкинуть. Может, Баббе просто увидела зачеркнутое предложение и не стала вчитываться. Теперь-то я понимаю, что далеко не каждому человеку хочется знать обо всем, что происходит в голове у его ребенка, но в то время мой опыт ограничивался наличием у меня самого родителей, желавших знать, о чем я думал, и готовых в свою очередь поделиться

собственными мыслями со мной. Папин рассказ тогда показался мне настоящей трагедией – историей о ребенке, чья мать совершенно не желала его понять и узнать получше.

Папины подростковые годы пришлось на шестидесятые. Он вел тогда колонку в школьной газете и в какой-то момент выяснил, что за написание музыкальных обзоров и рецензий раздавали бесплатные пластинки и билеты на концерты. Он написал письма в редакции всех музыкальных журналов, которые знал, с предложением писать для них эти обзоры. Из многих пришли утвердительные ответы вместе с пластинками для обзоров. Те, что ему не нравились, папа выменивал на другие. Надо сказать, что папа, унаследовавший от матери и бабушки страсть к критике, был абсолютно смешон в своих беспощадных подростковых рецензиях. Рассказывая мне о своей ранней карьере музыкального критика, папа от души смеялся над собственным незамутненным юношеским максимализмом:

– Я как-то раз написал письмо в редакцию «Лос-Анджелес таймс», в котором в пух и прах разнес их положительную рецензию на тур «Exile on Main St.» в 1972 году. Я в нем назвал Rolling Stones кряхтящими старперами, едва способными пересечь сцену!

Отец нередко задавал невежливые вопросы и частенько ненамеренно оскорблял своих любимых исполнителей. Якобы в ходе интервью, которое он брал у группы Black Flag, Генри Роллинз даже пригрозил папе мордобоем.

В конце семидесятых папе представился шанс взять интервью у одного из его кумиров – Рэнди Ньюмана.

– Я послушал его последний на тот момент альбом, – рассказывал папа. – Такое впечатление, что Рэнди при написании слов буквально не вылезал из словаря рифм: «грусти» – «прости», всякое такое. Я спросил его, почему рифмы в новом альбоме такие заезженные, сознательно ли он решил не делать упор на слова песен, – пересказывая эту историю, папа качал головой и постоянно посмеивался над молодым собой. – Он, вероятно, счел меня самым безбашенным интервьюером из всех, что ему встречались. Сказал, что лично ему рифмы нравятся, и добавил что-то вроде: «Жаль, что вас они разочаровали». Но мне этого было мало – я продолжал приводить примеры плохих рифм из его последнего альбома, а он все так же их отстаивал!

Ему казалось, что Ньюману понравится столь пристальное внимание к его музыке. Папа с детства привык выражать восхищение и высказывать уважение через критику.

Друзья папы тоже имели привычку все критиковать и постоянно спорили на тему искусства и политики. Мамины же друзья и подруги предпочитали обсуждать общих знакомых. Надо сказать, папа ладил с ними не лучше, чем мама – с его друзьями.

В 1979 году, за год до моего появления на свет, папа пытался устроиться на работу в крупную студию звукозаписи в Лос-Анджелесе. Он подал заявление и через некоторое время его пригласил на собеседование один человек, который в то время уже много лет как был достаточно крупной шишкой в музыкальной индустрии. Встреча с ним и его секретаршей была назначена в одном ресторане в Голливуде. Когда все уселись за стол, представитель студии повернулся к папе и внезапно разразился гневной тирадой, в которой подчеркнуто выразил свою глубокую неприязнь к картинам Пабло Пикассо. Закончив свою речь, он уперся взглядом в отца и потребовал, чтобы тот поделился своим мнением по этому вопросу. Папа в ответ объяснил, почему лично ему Пикассо нравится, прибавив, что кубизм объективно оказал существенное влияние на мировую живопись и что тут личные предпочтения и вкусы уже ни при чем. Мужчина назвал папин ответ идиотским и пустился в очередной монолог о чем-то еще, что ему не нравилось. Цикл повторился еще несколько раз и все по тому же сценарию: он выражал свое мнение, требовал мнения папы, а затем поливал оное грязью. Секретарша просто сидела рядом и молча наблюдала за разговором. Несмотря на то, что папу такое поведение собеседника ощутимо сбивало с толку, он продолжал честно отвечать на каждый вопрос. Вернувшись домой, он пересказал все это маме и добавил, что на работу его теперь точно не возьмут. Однако уже на следующий день папе сказали, что его берут в штат. Приехав на новую

работу, он вновь встретился со своим начальником – тем самым мужчиной с собеседования. На сей раз он говорил с папой с прежней едкостью, но уже без тени той злобы, которую буквально источал в ресторане. В разговоре с его секретаршей папа упомянул, что был уверен, что его не возьмут на работу. Та в ответ заявила, что это была проверка на стрессоустойчивость, призванная показать, насколько соискатель склонен вступать в спор со старшим по должности и способен ли он сохранять спокойствие и ясность мысли в конфликтной ситуации. Проверка такого рода явно была папе по плечу.

Чудо на Хануку

Несмотря на заверения моих родителей в том, что большинство людей любит лгать и любит, чтобы им лгали другие, сам я окончательно в этом убедился, когда бабушка повела меня на встречу с Сантой. Родители мало что рассказывали мне о Рождестве, поскольку мы были евреями¹⁵. К тому моменту Грэмми уже несколько месяцев упрашивала маму отпустить меня с ними в Вегас на выходные и обижалась на ее неизменный отказ. Будучи настоящим ветераном злопамятности и чемпионом обидчивости, Грэмми не сдавалась и все вопрошала:

– Что же это за мать такая, которая прячет четырехлетнего ребенка от его бабушки с дедушкой?!¹⁶

На самом деле, в том возрасте я достаточно много времени проводил с Грэмми. Я глядел на нее, изучая разницу в цвете между ее шеей и напудренным лицом. Ее фиолетовые солнцезащитные очки сочетались с длинными, крашеными ногтями и подходили к ярко-розовой губной помаде. У нее была неприятная, отработанная улыбка участницы конкурса красоты, заранее уверенной в своем поражении. Она мне никогда не нравилась; впрочем, она отвечала взаимностью. Я хорошо это знал по той простой причине, что после каждого ее приезда к нам в гости мама пересказывала мне ее жалобы: то я слишком мало ей улыбался, то не заметил, как она постройнела, то задавал слишком много вопросов, то был недоволен, как она водит машину, то смущал ее тем, что жаловался, будто она меня вот-вот раздавит, когда мы сидели в одном кресле, и так далее. Закончив тот пересказ, мама добавила:

– Но ты во всем прав. За рулем нельзя рыться в сумочке, а улыбаться и делать комплименты нужно только тогда, когда тебе самому этого хочется. И стоит задавать вопросы обо всем, что тебе хочется узнать. И да, *нужно* пытаться обратить на себя внимание, если на тебя кто-то сел!

С каждым маминым отказом ворчание и недовольство Грэмми все усиливалось, и в какой-то момент мама просто не смогла в очередной раз отказать. Всю ночь по дороге до Вегаса я крепко проспал. Утром бабушка вновь загнала меня обратно в машину и тронулась с места. Надо сказать, я никогда еще не оказывался в такой ситуации – ехал в машине и понятия не имел, куда именно. Когда я спросил Грэмми о пункте назначения, она полностью обернулась ко мне, все еще держа руками руль, и предложила:

– А ты угадай!

Я изо всех сил вцепился в ремень безопасности – мне было безумно страшно, что мы разобьемся, пока Грэмми смотрела на меня, а не на дорогу. Родители меня уже просветили на тему того, насколько часто происходят такие аварии.

¹⁵ Грэмми столь сильно ненавидела свое еврейское происхождение, что потребовала от Па, чтобы тот сменил фамилию. Жены его братьев присоединились к этому требованию – по их мнению, фамилия Питковски звучала слишком по-еврейски. Впрочем, единой альтернативы никто так и не придумал, и в итоге у всех троих братьев оказались разные фамилии: Питт, Пауэлл и Пауэрс. В результате мама росла с фамилией Пауэрс в христианской традиции, с Рождеством и всем прочим. Грэмми впоследствии возненавидела ее за то, что меня она вырастила в иудейской традиции, лишив ее таким образом возможности отмечать Рождество с внуком.

¹⁶ На деле же вопрос следовало бы поставить несколько иначе, а именно: «Что же это за бабушка такая, которой в принципе невозможно доверить малолетнего внука?»

– Мы едем к Санте! – сказала Грэмми, все еще не отрывая взгляда от моего лица, ожидая, очевидно, увидеть на нем восторг.

Полностью поглощенный мыслями о том, насколько жутко и неправильно Грэмми водит, я отстраненно пробормотал:

– К Санте?

Грэмми вздохнула.

– Мама не рассказывала тебе о Санте? – разочарованно спросила она, поворачиваясь обратно к ветровому стеклу автомобиля. Тут до нее дошло, что она может стать первым человеком, который расскажет мне о Рождестве, и ее руки тут же переместились с руля на мои плечи. – Санта приносит всем подарки!

– Грэмми! – взвизгнул я, – Возьмись за руль!

Еще пару секунд подержав ладони на моих плечах, она неохотно вернула ладони на руль.

– Без Санты не было бы Рождества, – сказала Грэмми.

– Но ведь, – ответил я, – мы же евреи.

– Рождество – это общий праздник, – возразила она. – В канун Рождества Санта на своих волшебных санях прилетает к каждому дому по всему миру, спускается по дымоходу и кладет всем подарки под елку.

Я напряг все свои извилины, пытаюсь это осмыслить. Я даже представил себе свою голову изнутри, вообразив пульсирующий в большой банке мозг. В результате уже через минуту меня укачало, да к тому же у меня разболелась голова.

– А у нас нет ни елки, ни дымохода, – сказал я.

Мама всегда хвалила меня за такие проявления смекалки, однако Грэмми мои слова явно пришлись не слишком по вкусу – остаток дороги мы провели в напряженной тишине. Добравшись до торгового центра, мы встали в очередь к небольшой елке.

Грэмми показала на пластиковые деревья, посыпанные белым порошком.

– Гляди, снег! – произнесла она.

Я уже тогда знал, что Лас-Вегас – это пустыня, а в пустыне снега быть никак не может. Заинтересовавшись, я резво поднырнул под преграждавшую путь бархатную ленту, чтобы пощупать снег. Тот оказался совсем не снежным на ощупь – он даже не был холодным.

Грэмми окликнула меня сквозь стиснутые зубы, пытаюсь избежать конфуза.

– Майкл! Не трогай снег!

Оторвав мою руку от ненастоящего снега, она отвела меня обратно в очередь.

Я пребывал в полнейшем недоумении. Я никак не мог взять в толк, с чего вдруг Грэмми врать мне про снег. Еще более дикой мне казалась ее убежденность в том, что я скорее поверю ее словам, чем собственным глазам.

Грэмми прервала мои тяжкие думы.

– Смотри! – воскликнула она, приоткрыв рот в притворном восторге, который я нашел отвратительно снисходительным. – Это же Санта!

И действительно – приглядевшись, я увидел сидящего на троне и позировавшего для фотографий Санту, к которому, собственно, и выстроилась очередь, к началу которой мы постепенно приближались.

– Когда подойдем, скажи ему, чего бы тебе хотелось на Рождество, – объясняла Грэмми. В тот момент мне хотелось на Рождество лишь одного – доказательства ее лжи.

Подойдя еще ближе, мы услышали голос Санты.

– Почему он все время говорит «Хо-хо-хо?» – спросил я.

– Санта так смеется, – ответила Грэмми, пренебрежительно помахав своим фиолетовым маникюром.

В конце концов уставшая Грэмми таки посадила меня на колени к Санте и заняла наблюдательную позицию на краю подиума. Я принялся внимательно изучать Санту на предмет каких-либо проявлений магии.

– Хо-хо-хо, привет, Майкл! – произнес тот. Я открыл рот от изумления, пытаюсь понять, откуда ему известно мое имя. Придя к выводу, что единственным разумным объяснением была магия, я стал хоть чуточку склоняться к мысли, что этот странный человек и впрямь обладал некими сверхъестественными способностями. Но эту гипотезу еще необходимо было подтвердить.

– Хо-хо-хо, Майкл, – повторил Санта, явно смакуя мое удивление тем, что ему известно мое имя. – Что бы ты хотел получить на Рождество?

Я внимательно всмотрелся в его лицо, чтобы не пропустить его реакцию на мои слова, и произнес:

– Я еврей.

Санта запрокинул голову и вполне по-человечески рассмеялся. Затем он склонился поближе ко мне и прошептал:

– Я тоже, парень. Я тоже!

Тут уже мы оба приснули. Было в этой разделенной на двоих запретной истине нечто безумно забавное. Честность этого торгового Санты стала для моих персональным маленьким рождественским чудом.

В конце концов я слез с коленей Санты и вернулся к сиявшей от радости Грэмми.

– Вы с Сантой так весело смеялись! – восхитилась она.

Мое желание обличить ложь Грэмми переросло в нервозность. С одной стороны, я боялся задеть ее чувства, с другой – не поведать о том, что только что произошло, было просто невозможно.

Я пересказал ей слова Санты, и Грэмми буквально сложилась пополам от истерического хохота.

– Ох, Майкл, – произнесла она, отдышавшись. – Я в жизни не слышала ничего более забавного!

– Правда? – удивился я. – Я думал, тебе станет неловко из-за того, что ты наврала.

Смех Грэмми прервался.

– Я не врала, – возразила она, и тут же снова зашлась хохотом. – Не терпится рассказать твоей маме о вашем разговоре с Сантой!

Когда мы вернулись домой, Грэмми пересказала маме эту историю, устроившись на коричневом диване в нашей маленькой гостиной. Я переводил взгляд с одной из них на другую, сравнивая их, глядя то на яркие одежды Грэмми, то на более спокойный мамин наряд. У меня в голове не укладывалось, что эти женщины связаны родственными узами.

Стоило Грэмми начать рассказ о том, как она отвезла меня к Санте, обычно ласковая мама заметно посуровела.

– Ты отвезла Майкла к Санте, прекрасно зная, что я этого не одобряю? – перебила она.

Грэмми невозмутимо продолжила говорить, пропустив мамин вопрос мимо ушей. По ее словам выходило, что я был рад возможности увидеть Санту и с нетерпением ждал встречи с ним. Весь мой скепсис она решила опустить. Затем она перешла к пересказу нашего с Сантой разговора, причем говорила так, будто стояла рядом и слышала все до единого слова. Я внимательно наблюдал за выражением лица мамы, пытаюсь понять, уловила ли она фальшь в словах Грэмми. Когда та сообщила, как я сказал Санте, что я еврей, мама расхохоталась. На этом Грэмми окончила свой рассказ, опустив и ту часть, где я уличил ее во лжи. Я был абсолютно потрясен ее непонятной уверенностью в том, что такое искажение произошедшего сойдет ей с рук – я ведь стоял рядом, знал правду и был готов изобличить ее вранье.

Грэмми уже закончила говорить, а мама все никак не могла отсмеяться.

– Все было не так, мам, – не выдержав, сказал я.

Грэмми полностью проигнорировала мои слова. Впрочем, я прекрасно знал, что, оставшись с мамой наедине, она обязательно начнет ей жаловаться на то, как я поставил ее в неловкое положение. Сдержанная улыбка на лице мамы показывала, что она точно знала, кому из нас верить, что мне она доверяла больше, чем собственной матери, и правильно делала. Я же лишь дивился тому, как просто, оказывается, быть честным, и как легко заслужить чье-то доверие даже в четыре года, и никак не мог взять в толк, почему это было так трудно для Грэмми и других взрослых¹⁷

¹⁷ Теперь-то мне хорошо известно, что доверие не сводится к вере в то, что его объект говорит правду, что оно также обозначает некий уровень поддержки с его стороны, на которую ты можешь рассчитывать. Грэмми не могла мне доверять – я постоянно критиковал ее и уличал во лжи. Я ничего не спускал на тормозах, ибо был верен лишь правде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.